

VI

ПИСЬМО ИЗ ПРОВИНЦИИ

Чей шопот в душу проникает?
Кто говорит мне: «веселись»!

Так спрашиваю я себя с некоторого времени чуть не каждый день, и вот по какому случаю.

С каждой почтой получаю я из столиц (преимущественно из Москвы) газеты и журналы, и в каждом их номере меня поражает какой-то таинственный голос, рассказывающий какую-нибудь из мелких житейских неприятностей и с видимым удовольствием прибавляющий, что «пришла наконец благодатная, радостная, желанная и т. д. пора, когда подобные неприятности можно рассказывать во всеуслышание». Под рассказом обыкновенно подписан какой-нибудь *зет* или *икс*, а чаще и ничего не подписано; местность не обозначена; к кому голос относится — неизвестно²⁸. Я долго ломал себе голову, чтобы узнать, о чем хлопочут восторженные рассказчики, и наконец остановился на предположении, которое на первый раз может вам показаться странным, но которое не лишено своей доли правдоподобия. Я полагаю, что все безыменные известия в ваших газетах сочиняет один какой-нибудь шалун, желающий подурочить вас, господ редакторов. Вы все ведь, разумеется, народ кабинетный; вы насквозь пропитаны идеальными понятиями о жизни; вам все в мире представляется необыкновенно связным, разумным, чистым и проч. В своем умозрительстве вы, по неведению действительной жизни, решительно уподобляетесь тому профессору, который у Гейне «затыкает своим колпаком все прорехи мироздания»²⁹. Вы еще недавно стали соглашаться, что жизнь имеет некоторые права, что

литератор тоже есть до некоторой степени *смертный*, что *толпа* достойна отчасти вашего внимания, и пр. Мы, разумеется, тотчас же заметили начало вашего обращения и дружно рукоплескали благому начинанию. Но для вашей же пользы позвольте нам иногда сообщать свои замечания о некоторых *странностях*, нередко проявляющихся в ваших суждениях о действительной жизни, с которою вы начинаете знакомиться. На этот раз я намерен сообщить вам несколько практических замечаний о тех голосах, которые теперь так часто раздаются в журналах и газетах.

Имея о русской жизни и русском обществе понятие, как видно, самое неопределенное, вы постоянно приходите в изумление, поднимаете шум и начинаете горячиться из-за таких вещей, к которым мы все давно уже привыкли и которые вообще не принадлежат к числу явлений чрезвычайных. Вам, напр., скажут, что кто-то и где-то взятку взял; вы сейчас думаете: «ужасное, чудовищное, сверхъестественное событие! надо о нем объявить во всеобщее сведение!» — и немедленно печатаете, что вот, дескать, какое событие произошло: один чиновник с одного просителя взятку взял! — Услышите вы где-нибудь, что цыган лошадь украл: поднимается шум, пишутся грозные обличения на неизвестного цыгана, укравшего лошадь. Пришлет вам кто-нибудь известие о том, что один сапожник плохо сапоги шьет; вы сейчас же и тиснете известие о сапожнике, с видимым удовольствием, что можете сообщить такую новость. Вы, конечно, предполагаете, что чиновник,

взявший взятку, цыган конокрад и плохой сапожник — такие редкие исключения в России, что на них будут все сбегаться смотреть, как на г-жу Пастрану³⁰. Но смею вас уверить, что вы ошибаетесь, просвещенные литераторы и журналисты! Я, конечно, не могу еще назваться человеком старым, не могу похвалиться и тем, чтобы я видал слишком много; но все же я, должно быть, опытнее вас, и потому вы мне можете поверить. И я вам скажу, что у нас, собственно говоря, что ни цыган, то и конокрад; что ни сапожная вывеска, то и плохой сапожник; что ни присутственное место, то и чиновников такая толпа, в которой мудрено распознать людей по тому признаку, что один берет взятки, а другой нет... Это верно; спросите, кого хотите, если мне не верите. Мы, читатели, даже удивляемся все, как *вы* этого до сих пор не знаете! Конечно, вы жизнь по книжкам изучали; да неужели же нет таких книжек, в которых бы это было рассказано как следует? Знаете, что: нам кажется иногда, что вы и книжки—то плохо читали; вы как будто читаете только *текущую литературу*, т. е. свои журналы. Этим только и можно объяснить азарт, с которым вы кидаетесь на всякое известие о взятке, грубости, несправедливости и всякой другой дряни. Тут у вас в журналах действительно было время, когда ни о чем подобном не писалось; но «*не писалось*» не значит, что *и не делалось*, и не расходилось в публике. Вы ничего не писали, а взятки и кражи учинялись по-прежнему, и мы о них знали очень хорошо, так что для нас они вовсе не были новостью, когда вы внезапно закричали о них в своих журналах. А вот вы—то сами как будто и действительно новость узнали: так вы погружены были в свои журналы, так пропитались их розовым запахом и так отвлеклись от всего живого!.. Мы вас и не винили в начале—то, думая, что вы, как люди умные, тотчас же

оглядитесь вокруг себя, смекнете, в чем дело, да потом еще и нас поучите, куда нам идти и что делать. Но, видно, знание жизни дается не так легко, как изучение какого-нибудь немецкого курса эстетики! Вы как стали на одной точке, так и не двигаетесь с нее... А все оттого, что жизни не знаете! Три года тому назад вы стали печатать обличительные повести; в некоторых из них был талант, в других просто рассказывались любопытные факты. И те и другие были приняты публикою благосклонно. Почему? Очевидно потому, что публика признала действительность фактов, сообщаемых в повестях, и читала их не как вымышленные повести, а как рассказы об истинных происшествиях. Но и тогда уже публика поправляла недомолвку литературы, называя истинными именами тех, которые скрывались под псевдонимами в повестях. И нужно признаться, что первые ваши обличительные повести давали читателю возможность отыскивать обличаемых. У г. Щедрина описан, напр., Порфирий Петрович: я знал двоих Порфирьев Петровичей, и весь город у нас знал их; есть у него городничий Фейер³¹: и Фейеров видал я несколько... Разумеется, еще чаще видали мы Чичиковых, Хлестаковых, Сквозников-Дмухановских, Держиморд и пр. Но об этом я уж и не говорю. У Гоголя такая уж сила таланта была, что до сих пор — куда ни обернешься, так все и кажется, что перед тобой стоит или Чичиков, или Хлестаков, а если ни тот, ни другой, то уж наверное Земляника... В этом отношении, я должен признаться, большая часть *щедринских* рассказов составляет шаг назад от Гоголя. Но все-таки они не так далеко от

него убежали, как нынешние рассказы, непрерывно печатаемые в газетах. По рассказу Щедрина я еще мог узнавать обличаемых, хотя не в той степени, как по рассказу Гоголя; но теперешние повести, (которые вы почему-то называете *гласностью!*) совершенно лишают меня этой возможности. Ну, скажите на милость, куда мне годится, напр., такое обличение:

«Одному моему знакомому случилось заказать себе сапоги из петербургского товара здешнему цеховому сапожнику. *Что же оказалось?* Он, желая выдать поставленный им товар за петербургский, сам вывел клеймо фабриканта на коже чернилами, и довольно искусно, так что с первого раза трудно догадаться о подделке. Но сапоги недели через две *перелопались* — *фальшь* оказался несомненным, тем очевиднее, что на петербургской коже клеймо фабриканта печатное». (См. «Рус. дн.», 1859 г., № 22).

Известие это прислано в «Русский дневник» из Нижнего Новгорода с подписью: «*Корреспондент*». Я сам, как вам известно, обитатель Нижнего, и потому легче другого мог бы сообразить, кто тут обличается; но хоть убейте меня, я до сих пор никак не могу указать вам гнусного сапожника, о котором извещает *Корреспондент*. Если бы он подписал хоть свою собственную фамилию, то до сапожника уж мы бы добрались как-нибудь: узнали бы, кто у *Корреспондента* знакомые, потом справились бы, какие сапожники шьют на них сапоги, и таким образом понемножку добились бы сведений, по крайней мере вероятных, если не совершенно непогрешимых. Но обличитель скрыл даже и свою фамилию и тем лишил нас всякой возможности напасть хоть на след негодного сапожника. Если бы он представил типические особенности сапожника, как делалось прежде, в щедринских рассказах, тогда была бы польза: можно бы

узнать, по указанным признакам, почти всякого надувалу–сапожника. Но *Корреспондент* говорит просто: «одному цеховому сапожнику», — как тут искать его! И какую пользу для общества может принести сведение, что один сапожник дурной товар на сапоги ставит? Если вы полагаете, что есть люди, которые не знают о существовании таких сапожников, то вы очень ошибаетесь. Всякий из читателей подивится только, каким образом *вы* могли этого не знать. Разве не оттого ли ваше незнание, что вы постоянно *котурн*³² надеваете и не имеете понятия о сапогах? Но ведь мы все думали, что вы в котурне–то являетесь перед нами только печатным образом; а как же вы по улицам–то ходите? Разве тоже в котурне? Впрочем действительно в котурне, нечего и спрашивать: это по сочинениям вашим видно. Ну в чем же иначе может ходить, напр., г. Жемчужников, напечатавший в I № «Московских ведомостей» нынешнего года статейку³³ «Еще придирика». Статейка написана горячо, благородно, остроумно; а по какому поводу? Читайте.

«*Некто* (кто?) приезжает в *некоторый* (какой?) город и отправляется в гостиницу (какую?), куда приказывает и своему слуге (как его зовут?) явиться с чемоданами. Слуга нанимает извозчика (имя? номер?) и едет... С ним встречаются блюстители порядка и общественной безопасности — *все равно*: козаки ли они, или какие–либо другие полицейские служители (далеко не равно для гласности!) Едущий слуга почему–то им кажется человеком подозрительным. Они его останавливают и спрашивают: кто он и куда едет? Он отвечает им, что он такой–то, и называет гостиницу, куда ему приказано

ехать. Блюстители замечают, что он едет не в ту сторону, где находится гостиница, и еще более утверждают в своем мнении, что он человек подозрительный, вследствие чего они его задерживают и представляют в полицию. Слуга ехал действительно не в ту сторону, где гостиница; извозчик, вероятно, не знал дороги или не понял, куда везти. Что же делает полиция с задержанным человеком? Она (кто же, однако, эта *она*?) спрашивает его: кто он и куда ехал? Он отвечает, что он такой-то; называет гостиницу, куда приказано ему ехать; объясняет, что сам он дороги не знает, будучи в городе в первый раз; немедленно предъявляет свой вид; называет лицо, у которого находится в услужении, и просит проводника для сопровождения его в гостиницу и для удостоверения в истине своего показания. Но полицейский чиновник (как его имя?) не соглашается на это предложение и принимает следующую меру, чтобы убедиться в достоверности слов слуги и в подлинности предъявленного им вида: он открывает чемоданы и осматривает находящиеся в них вещи. Обревизовав таким образом и белье, и платье, и все, что было там спрятано и заперто именно с тою целью, чтобы никто не смел ни до чего касаться без разрешения или приказания хозяина, и продержав слугу в полиции два часа, чиновник наконец соглашается на его первоначальную просьбу и отправляет его в гостиницу с проводником».

Случай самый обыкновенный, самый невинный — пошлюсь на всех русских читателей! Из-за чего же тут горячиться, от чего приходиться в негодование и — главное — зачем все это рассказывать нам с такими подробностями? Может быть это особенный род остроумия, потешающийся над несбывшимися ожиданиями; но такое остроумие, имея целью одурачить

человека, не совсем удобно в отношениях автора с читателями. Я, помню, читал где-то, как один шутник отделался от навязчивого господина, который все расспрашивал его, таскают ли волки коров в лес. — «Бывает», — отвечал шутник, — и за тем рассказал длиннейшую историю о том, как у него однажды корова домой не пришла, как он искал ее по лесу и как она оказалась возле забора его дома, совершенно в добром здравьи. — «Ну, а волк?» — спросил слушатель. «Волка не было», — лаконически отвечал рассказчик...

Г. Жемчужников поступает с нами отчасти в этом роде: мы ожидаем какой-нибудь ужасной истории, чего-нибудь необычайного, что бы дыхание захватило, а тут вдруг *«отправился благополучно домой»*. Да помилуйте, что вы нас морочите-то? Неужели вы и в самом деле не понимаете, что об этих вещах объявлять все равно, что объявить: «Один квартальный надзиратель недавно пообедал!» Об этом говорить нечего; мы не такие виды видали... Я, напр., мог бы рассказать, как у одного приезжего купца было отнято близ одного города разбойниками 50000 руб. и как через месяц потом у частного пристава умер дядюшка в Сибири и оставил ему 50000 наследства. Я мог бы сообщить, как в одном провинциальном городе домовладелец дал во время пожара 3000 целковых полиции, чтобы только она не подступалась к его дому. Я мог бы передать истории, как одну немку из Виртемберга, захотевшую приписаться в России, приписали было в крепостные к казенным заводам, за то, что она, *не зная порядков*, никому ничего не платила... Да мало ли что можно бы рассказать, если бы была охота! Слава богу, Русь-то наша не клином сошлась!

А то — побеспокоили человека, чемоданы посмотрели: великая важность! Известное дело — *à la guerre, comme à la guerre...*^{*}

Но г. Жемчужников рассказывает эту историю собственно для выводов, какие он делает из нее. Он говорит: «Я не счел нужным обозначить место, где случилось рассказанное мною происшествие. Предположите, пожалуй, что оно вымышлено: оно от этого не потеряет своего характера возможности и вероятия». Следовательно, вместо гласности опять выступает на сцену мифология! Хорошо! Где же нравоучение? Их два — одно теоретическое, другое практическое. Первое таково:

«У нас есть еще (скоро не будет, конечно!) люди, считающие насилие и произвол мерами общественного порядка и гражданского благоустройства».

Практические выводы имеют такой вид:

«К стыду нашему, мы должны сознаться, что чувство чести и собственного достоинства у нас еще не развилось или может быть заглохло. В нашей общественной жизни мы умели соединить привычку неповиновения закону с постыдным и раболепным самоуничтожением перед всяким произволом. Избегая исполнения наших обязанностей, мы не заботимся о защите наших прав и не умеем протестовать против оскорбления нашей гражданской чести и человеческого достоинства, когда это оскорбление наносится нам, без всякого повода и причины, а просто под предлогом исполнения служебных обязанностей». («М. вед.», № 1).

Итак — вот вам мораль: «исполняйте свои обязанности, защищайте свои права и протестуйте против оскорблений». Великая истина, жаль только, что не

^{*} на войне как на войне (франц.). — Ред.

совсем новая. Это еще звери у Крылова предлагали³⁴. Помните, как они, защищая овец от волков, решили, что ежели волк нападет на овцу,

То волка тут властна овца,
Не разбираючи лица,
Схватить за шиворот и тотчас в суд
представить
В ближайший лес иль бор...

Но мне кажется, что это рассуждение истинно зверское, хотя оно г. Жемчужникову и нравится. Я говорю: *нравится*, основывая это вот на каких соображениях. Статейка г. Жемчужникова направлена против того, что мы не заботимся о защите своих прав; в заключении же ее говорится: «Нельзя однако же отказаться от надежды, что во всех сферах нашей жизни человеческий разум одержит наконец верх над животными инстинктами! Будем ожидать терпеливо наступления этого вождеделенного времени». Видите: мы должны отстаивать свои права и ожидать терпеливо, когда человеческий разум и пр. ... Ясно, — хватайте волков за шиворот, отстаивая свои права, и ожидайте, пока их разумно рассудят с вами в ближайшем лесу! Стоило такой шум подымать для того, чтобы напомнить нам *о терпении!* Терпенью—то уж нас, провинциалов, не учите пожалуйста: сами горазды!

А ведь действительно, другой цели—то нет, должно быть, у вас, кроме того, чтобы порисоваться перед нами в котурне, да поучить нас терпению. Все, что вы делаете, доказывает это. Напр., во 2-ом № «Московских ведомостей»,

вслед за статейкой г. Жемчужникова, было напечатано вот какое письмо к редактору³⁵:

М. Г.,

«Позвольте мне сообщить вам факт, сильно поразивший меня, когда я услышал о нем. Вероятно многим нечасто приходилось слышать такого рода случаи.

«N., оставив в Москве жену с тремя дочерьми без всяких средств к существованию, пошел в козаки и был послан на Амур. Бедная женщина кое-как пристроилась к месту и своими трудами содержала себя и свое семейство. Спустя несколько лет взгрустнулось мужу по жене: он почувствовал снова склонность к семейной жизни и, боясь не найти сочувствия в жене к своему предложению, послал ей чрез кого следует приглашение придти повидаться с ним в Сибирь. В одно прекрасное утро ей было объявлено, что она должна чрез две недели по этапу, с колодниками, отправиться на Амур для свидания с мужем. Вы можете себе представить ужас *несчастной жертвы этой любви*. Для сохранения *супружеского счастья* жертвовалось всем: здоровьем, спокойствием, привязанностию к родине, к семейству; вменялось в обязанность нравственной женщине, единственной опоре семейства, отправиться зимой, по этапу, с колодниками, за несколько тысяч верст, на свидание с человеком, который пустил ее и семью по миру. Ни слезы, ни мольбы несчастной не могли поправить дело: она *должна будет* отправиться в путь, бросив все, что было ей дорого и мило в Москве, ее родине. Стоит немного остановить внимание на этом факте, чтоб увидеть всю массу последствий, которые может повлечь за собою подобное внушение высоконравственного чувства».

«Примите и проч.»
Д. З-ский.

Мы читали письмо г. Д. З-ского о жене г. N, и терялись в догадках, зачем оно напечатано. Что муж, по существующим законам, имеет право вытребовать к себе жену, это мы все знали; что жене это требование всегда бывает неприятно — тоже всякому известно. Чего же хотел г. З-ский, говоря о жене г. N? Возбудить к ней участие? Но как же это участие могло выразиться, когда ее имя не было названо? Задумались мы и только покачали головой при мысли о непрактичности писателей и редакторов. И, должно быть, не нам одним приходили в голову такие мысли. Недели через две, в 15 № «Моск. вед.» появилось письмо к редактору такого содержания. «Не иначе, говорит, как в видах христианской любви, вы сообщили известие о жене, требуемой мужем по этапу. Действительно, о ней жалеют и хотят помочь ей; но кто она и где она? *Как добрый человек и христианин* примите, говорит, на себя труд указать место ее жительства». В ответе на это письмо редактор оказался человеком чувствительным: он назвал письмо *трогательным* и сказал, что жена г. N называется Акулиною Варфоломеевной Кашеевою, живет на Сретенке, в доме купца Сазикова, в квартире Матвея Филипповича, и должна отправиться через неделю. К сему редактор счел нужным присовокупить: «Мы слышали, что, по распоряжению начальства, эта несчастная женщина снабжена тем, что может облегчить ей предстоящее путешествие.

Говорят, ей даны тулуп и лошадь». Заметьте, что со времени первого объявления до этого письма и редакторской приписки прошло две недели, в продолжение которых благодетельные москвичи рвались всеми силами души своей помочь несчастной, но не знали, где она, не знали даже, не миф ли она, вместе с г. Д. Зским!.. Чтó мешало в первом же извещении объявить ее имя? Неужели и тут были какие-нибудь помехи, *не зависящие от редакции*? Нет-с, быть не может: тут во всем виновата единственно ваша привычка к отвлеченности и совершенное отчуждение от жизни. Вы очень чувствительны; услышавши о несправедливости, вы начинаете громко кричать; узнав о несчастье, горько плачете. Но вы как-то умеете возмущаться против *несправедливости вообще*, так же, как умеете сострадать *несчастью в отвлеченном смысле*, а не человеку, которого постигло несчастье... Оттого все ваши рассуждения и отличаются таким умом, благородством, красноречием и — непрактичностью в высшей степени. Вы до сих пор разыгрываете *в вашей литературе* (скажу, не как Хлестаков)³⁶ каких-то чувствительных Эрастов³⁷: как будто исполнены энтузиазма и силы, как будто что-то делаете, а в сущности все только себя тешите и — виноват — срамите перед нами, простыми провинциальными жителями.

Я надеюсь, что вы моими жесткими выражениями не обидитесь, как и я не обиделся вашим замечанием о моем первом письме — относительно «Литературного Протеста». Бог с вами: бранитесь, сколько хотите, только представьте и мое мнение на суд публики. Она рассудит... Что касается до гласности, которой вы хвалитесь, то я о ней еще поговорю с вами. О ней можно много говорить, а я еще только начал. Тороплюсь послать письмо на почту: мне хочется, чтобы вы в апреле напечатали его. Но не

могу с вами расстаться, не сделав следующего предложения: издавайте ежедневную газету! Я готов вам поставлять каждый день, в течение десяти лет, по двадцати одному истинному анекдоту, в роде тех, которых десятка два, под именем *гласности*, напечатано в ваших газетах за нынешний год. Разумеется, я буду всячески избегать собственных имен, и даже своего собственного не буду подписывать. Решайтесь... Не бойтесь, что материалу не хватит; земля наша велика и обильна...³⁸

Д. Свиристелев.

Нижний Новгород,
25 марта 1859 г.